



Анастасия Строкина

Восемь минут

Анастасия Строкина

Восемь минут

Москва
«Воймега»
2015

УДК 821.161.1-1 Строкина
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
С86

Художник серии: Сергей Труханов

А. Строкина

С86 Восемь минут. — М.: Воймега, 2015. — 80 с.

ISBN 978-5-7640-0184-5

Анастасия Строкина родилась в 1984 году в Заполярье. Жила в Кишинёве, Одессе, Санкт-Петербурге. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Преподавала иностранные языки, работала редактором в журнале, библиотекарем в детской библиотеке. Переводит с английского, французского, итальянского и датского языков. Стихи, эссе, переводы публиковались в журналах «Континент», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Иностранная литература», «Новая Юность», «Октябрь» и других. Участник поэтической программы Шеймаса Хини в Белфасте (2012), дипломант премии им. В. Крапивина на лучшее произведение для детей (2014), лауреат Волошинского конкурса в номинации «Рукопись неопубликованной книги» (2014). Живёт в Москве. «Восемь минут» — первая поэтическая книга автора.

Книга издана при поддержке Алексея Коровина.

© А. Строкина, текст, 2015

© С. Труханов, оформление, 2015

© «Воймега», 2015

Осиротевшие платья

* * *

Мои смешные ботинки утопали от меня.
Теперь вот играют в прятки где-то в чужом дворе.
А я носила их в школу — день ото дня, и дня
не хватало — в солнечном декабре.

Мелочь, конечно, а вспомнишь — и побежишь
в год девяносто первый — первый учебный год,
встретишь себя и скажешь: «Ну что, малыш,
страшно тебе и странно, а всё пройдёт —

и не заметишь: весь этот зимний треск,
весь этот трепет исчезнет на раз-два-три.
Только и вспомнится — новых ботинок блеск,
переходящий в свет. Изнутри».

Арсений

Под козырьком подъезда — он:
большой, угрюмый, некрасивый,
стоит с утра и до заката
Арсений Яковлевич Слива
в рубашке с красными гранатами,
а под рубашкой
(она расстёгнута), на смуглом пастбище груди —
белокудрявые барашки,
а взрослые: «Не подходи
к нему!»
И не поймут,
что знаю всё сама,
что дед Арсений
был поваром в кафе «Весеннее»,
что в девяностые сошёл с ума,
и в радостном безумии крылатом
он жизнь свою обкладывает матом,
страну свою обкладывает матом
и всё вокруг обкладывает матом.
И мы ещё читали по слогам
те буквари с огромной «А» на синей
обложке, и красивой
не видели мы книг;
те буквари, где мама вечно моет
и Ленин вечно молод,
и каждый день в забвенье напрямик
летели прописи, и ноты, и смычки,
хватали мы скакалки и сачки,
и «ты-сегодня-водишь-в-прятки-Насть»,
и Родина как будто началась.

Но каждый день, как из чернящей бездны,
из-под стального козырька подъездного
гремел Арсений, расправляя крылья,
и мы первой всех истин уяснили,
что
все скоты,
и воры,
и предатели,
и кто-то там ещё,
и всё не так,
и Горбачёв —
законченный мудака.

Первый зуб

Помню, как выпал первый молочный зуб:
нежная кожица розовых детских дёсен,
кровь в уголке холодных от страха губ.
Мне было шесть, а я говорила — восемь.
Я торопила время — да что оно?
Времени будет много, зубов, наверное, тоже.
Будет, всё будет: по вечерам кино
в старенькой «Родине», и фруктовым мороженым
будет меня угощать не волшебник — он
улетел к себе в голубом вертолёте;
буду наивничать, буду взрослеть с неохотой,
буду спешить домой и забывать про сон,
буду детей растить, платья носить по моде
и не по моде — так, первое, что найду;
буду любить, прощать и обижать, и вроде
всё хорошо. Но время, как на беду,
вырвет мне первый зуб. Старость моя, здорово!
Нежная кожица розовых рыхлых дёсен.
И языком пустоту изучу, и снова
мне будет шесть. И снова скажу, что восемь.

* * *

Легче крыла комариного
счастье моё:
тонк — и оборвалось.
Сжала сухую рябиновую
тёмную горсть,
сжала и сжалась сама,
свилась плющом —
что же тебе ещё?
что же тебе ещё?

Мои герои

Расчистила дорожки от снега.
Смотрю в окно.

Герои моего детства
толкаются и дерутся,
расшатывают яблоню:
невероятные пираты,
освободители и завоеватели,
на кого вы стали похожи?
Кто живёт в освобождённых
и завоёванных вами странах?
Вылезайте из сугробов,
входите.

Герои моей юности
жмутся у двери,
курят и расппеваются,
настраивают гитары.
Инопланетные актёры
и музыканты,
где ваше откровение?
Кто живёт в открытых
вами Америках?
Ладно, неважно.
Входите.

Герои моей зрелости —
их нет.
Отсутствие их так же неожиданно,
как проснуться
человеком среднего возраста.

Несостоявшиеся мои герои,
не стойте там,
под дождём из снега.
Входите.

Смешные и жалкие,
и всё-таки больше смешные,
простим друг друга
за наивность,
заблуждения,
надежды.

ТВОЙ ГОЛОС

1

Даже звёзды угасают,
тают ледяные глыбы,
даже у огромной рыбы
злые зубы выпадают,
исчезают великаны,
города и даже страны,
и дубы и кипарисы,
и лесные волколисы,
и драконы, и кентавры,
даже буробронтозавры,
даже австралопитеки,
запахи, слова и звуки.
Только бабушки и внуки —
бесконечные навеки.

2

Твой голос — как моторная лодка
в океане прибывающих звуков:
увозит меня из многоголосия
в тёплые воды тишины.

3

Первая изморозь и последняя морось.
Никак не пойму, почему ты любишь предзимье.
В телеграфе у Пушки я покупаю твой голос,
пять минут звука. «Привези мне, —

просишь, — конфет «Золотой ключик»
и фото кинотеатра «Ленинград» на Соколе.
И я везу «Ленинград» в Петербург и на всякий случай
фотографирую церковь и всё, что около.

4

Снова у тебя на Васильевском.
В шкафу ещё висят
осиротевшие платья,
кроме одного —
чёрного, с накрахмаленными манжетами.
Грет-а-грет-а-грет-а-грет-а
явари-явари-явари-явари —
разговор умершего
с нерождённым.

5

Тридцать семь книг,
шерстяной ковёр,
югославское кресло,
шкаф с потайным ящиком,
в котором лежат
завёрнутые в полотенце
фотографии и документы;
стакан для вставной челюсти,
парик, натянутый на вазу,
записная книжка,
зеркало,
помада,
триста граммов пепла.

Подснежники

Детям, зачатым зимой,
всю жизнь не хватает тепла.
— Где ты была? — спрашивает. — Где ты была?
— Я собирала подснежники в белом лесу.
Я, — говорит, — спрятала их,
летом их принесу.
Листья зелёные,
лепестки молочные,
и внутри их подземных луковиц
падает снег —
лето ли, весна ли —
падает снег.
Так и будут расти, так и вырастут —
декабрь внутри.
Неутолимая, неизбывная жажда тепла.
И не кричи на меня, — говорит, —
и так не смотри.
Нет меня больше там, где я была.

На мосту

Позабытые мастера альтов и скрипок,
позатёртые имена;
голоса вне шёпота, стопа, хрипа.
День сегодня ягодника-Архипа.
На излёте весна.
Он стоит в начале реки Фонтанки,
дремлет музыка на смычке.
А из скрипки, как будто из ранки,
каплет память о лаке, клее, рубанке,
о луче, ласкающем спозаранку,
о чужом языке.

* * *

Не озноб — это мраморным взглядом боги
осязают свой мраморный громкий город,
и меня, и мосты, и обветренные дороги,
затянувшийся март и апрель — а в апреле блеснит, расколот,
птичий лёд и плывёт по реке к заливу —
до озноба эта река красива,
и темнеет, и льдится, и всё ей мало.
Я иду вдоль северного канала,
я — туда, где небо, трава, болото.
Чтобы кто-то позвал. И обернулся кто-то.

Шестнадцатое октября

Третий день как пошёл первый снег.
Не тревожься: будет радостный день.
А давай — до скрещения рек
пройдёмся — до скончания лет.
Потеплее пальто надень.

Помнишь, это Оден, кажется: «Мы должны...»
We must love each other or die.
Хочешь, прямо пойдём, хочешь — окружным.
Только руку дай.

На еврейском кладбище. Могила Цеби

Каждому хватит времени.
Хватит на всё. Больше не надо.
Смотришь глазами серыми
на ограду,
а за оградой —
бронзовый быстрый олень
и надпись: Цеби.
Белая-белая сирень
гроздьями — в небо;
друг другу мы вручены,
земная поросль,
и не разлучены —
просто порознь,
просто земля меж нами —
тонкая плёнка;
скачет олень ночами
к оленёнку
и свысока
видит: Прага застыла.
Камень вместо цветка
брось на могилу,
брось и не бойся: цветы —
всё те же камни.
Скачет он сквозь кусты —
прямо в глаза мне
и разрывает вату
пространств — рогом.
Времени хватит, хватит,
времени много.

Голем

Слепи меня
из чистой глины речной.
Я буду твой Голем,
буду ручной:
тяжёлый шаг и немой язык,
но так слепи, чтобы я привык
к себе. И мёртвых слов
не боялся,
мой Логос, мой Лёв,
мой звериный рёв

о небе — к небу,
о камне — к камню,
о теле — к телу,

и за тобой —
на пир и в бой,
исполню приказ любой;
за тобой —
до самой дальней горы,
самой последней поры,
пока ты не бросишь меня,
не сбросишь меня.

Покатые склоны кляня,
скачусь я на дно оврага:
ни памяти, ни забвения —
только глина и влага
и нежность не-при-кос-но-вения.

До конца времён

Я б устроила мир
так, чтобы все сидели
на верхушках
самых высоких елей
и только махали друг дружке:
утром — зелёными шляпами,
по вечерам — фонариками.
«Как ты?» — махала бы я тебе.
«Хорошо!»
И так всё время.
До конца времён.

Рыба-луна

Рыба-луна,
огромная, как страна
с сотнями городов,
выплывает
из облаков
планктона;
шарит глазами,
глочет тьму,
и я никак не пойму
устройство морской галактики.
У берега Африки
выставила плавник —
верный признак того,
что приближается шторм
и домой не вернуться
многие рыбаки.
Но она о другом
думает —
люди так далеки.
И медленный путь
продолжает.
От тёмного дна
до небесного дна
доплывёт эта рыбина,
Рыба-луна,
с ночью, как пуповиной,
соединена —
длинною нитью Дракона.

* * *

Когда-нибудь нахлынет молодость —
во сне, на улице, на станции,
и ты — неповторимый модус
неумираемой субстанции —

пойдёшь в косухе нараспашку
гулять вечерними проспектами,
ты будешь Джимми или Пашкой,
Исаком, Фредериком, Гектором,

ты для кого-то будешь первым,
а для кого-то будешь поводом,
и станешь ты со мной, наверное,
и по воде ходить, и по воду,

как хорошо: ты только модус,
как хорошо, что нет спасения,
как бесконечен этот глобус
вращения и превращения.

Сосна

*Антеро Лайне, который всегда был оптимистом,
с благодарностью за беседы на финском*

Сосна, не молчи, скрипи —
весной, когда распускаются крокусы
на груди его дочери;

летом, когда жена опять
не позвонит ему
в день рождения;

сосна, скрипи —

осенью, когда по привычке
он собирает грибы, чтобы зимой
хватило на всех,

зимой, когда в океане снега
кресты над родителями —
два чёрных буйка.

Воспоминание о том, как мы слушали пластинку с записью стихотворения Беллы Ахмадулиной «Сказка о дожде»

Чёрное солнце пластинки рифлёной.
Слушаем быль про поэта и дождь.
Ты, говорят, не по детству смыслённый,
мне говорят: ничего, дорастёшь.

Я в эти звуки врываюсь с разбега,
в сказочный дождь из обычного дня.
Только звучи, неумолчная «Вега»,
тонкой иголкой царапай меня.

Тонкой иголкой — до боли, до жжения,
тон-полутон — до головокружения,
тон-полутон,
и чужого слова
робко во мне поднимается колос.
Тон-полутон,
и понимаю,
что
человек — это голос.

Рыбалка

Тёмную пасть разрывая крючком,
смотрю в глаза своего лосося:
в них — ребёнок по насыпи, босиком,
без рубашки, без прошлого, без всего, что потом,
и, конечно, без спроса.

Эта рыба — как свиток, сокровище на руках,
плавника последний неловкий взмах,
и глаза подёрнула плёнка.
Молчаливая боль его и безмолвный страх —
за других, за тех, кто в морских мирах,
за меня — его чужого ребёнка.

Питерская шпана

Питерская шпана в коротких штанах —
мы жили, мы были по целых тринадцать лет,
мы — скорость, мы крыльев неслышный взмах,
мы знали, что всё добывается впопыхах,
как пачка импортных сигарет.

За школой — старое место сбора,
это любой географии проще.
Мы стали взрослыми слишком скоро.
Родители делят жилплощадь —

так разделил полуденной пушки бой
всё наше детство — на то, что возьмём с собой,
на то, что оставим, как надпись на водосточной трубе:
«Свобода. Рок. СПб».

* * *

Может, тело одной породы с известняком,
тайны нет — известное дело: вода с песком.
Вот и всё, что будет: на камне соль,
рыбий блеск и косточкой — буква ноль,
и без разницы даже для кораблей —
под водой лежать ли, идти по ней,
время жабрами дышит — моё пока —
до слияния с морем — известняка.

На посадку каштана

Моё бытие и твоё ничто —
нет крепче этого и нет легче.
Дерево, я люблю тебя только за то,
что ты мне по плечи,

что холодную твёрдую землю свою
отвоюешь себе по сажени,
дерево, я за то тебя и люблю,
что ты мной посажено,

что почувствуешь первую птицу, как дрожь,
и весеннее соков движение,
что однажды ты доживёшь, дорастёшь,
что никто другой, а ты позовёшь —
начинать с рождения.

И меня ты полюбишь только за то,
что когда-то срослись случайно мы,
что твоё бытие и моё ничто
стали неразлучаемы.

Памяти Паши

Мы вместе ходили в школу: последняя — наша парта.
На старой советской парте царапали мы слова.
Мы вместе с тобой не знали ни Джоуля, ни Декарта,
ни cogito и ни dubito, а так — на дворе трава.

По алфавиту
нас вызывали: меня — всегда раньше,
тебя — всегда позже.
И часто — мне неуд,
тебе — ничего.
Закон алфавита суров.
А ты говорил мне:
«Забудь, не завидуй,
тебе повезёт в другом».

Но нас не по алфавиту к доске вызывает время.
У времени столько времени, у нас же — едва-едва.
А ты мне и правда нравился, если сравнить со всеми.
И cogito я, и dubito, и на дворе трава.

Вот и поговорили

С мёртвыми лучше не встречаться.
Ты говорил,
они уплывают на корабле,
а мы остаёмся.
Но разве сам ты не видел их
на улицах,
на остановках,
в метро,
разве они не смотрели тебе в глаза
с завистью и усмешкой?
Ты же умный парень, Паш,
и сам знаешь:
никуда не деваются
наши мёртвые,
в твоём Адмиралтействе и моих Сокольниках —
езде их много.
Каждый со своей памятью.
Ты же умный парень, Паш,
ты теперь всё понимаешь.
Не встречайся со мной.

Освобождение Калибана

Но Калибан — вот мой неизгладимый позор.
Ты ведь знаешь, Ариэль, как я был одержим
Желанием абсолютной преданности, и вот результат —
Этот несчастный, пресмыкающийся в пыли...

*У. Х. Оден. Море и зеркало
(пер. Г. Кружкова)*

I. Кирхштеттен

Объездил полмира.
Небольшой дом купил
в австрийской деревне —
лесной дом для лета.
Вена недалеко
и далеко одновременно,
так что вокруг — поля и
такие же — радостные — деревни.
Небольшой дом и гараж:
сел в машину —
умчался куда угодно.
Но лето прошло,
и осень,
зима, весна, и ещё одно лето,
и ещё — числа им не будет,
а он всё уехать не может:
думал ли, что задержится здесь настолько,
что вовсе забудет о времени?

II. Дом провожает

И дом стоит и смотрит вслед.
Что дальше? — ничего и нет,
верней, другое есть — не прежнее.
Невыносимый яркий свет
чем дальше, тем, гляди, — क्रомешнее;

а расставались невзначай,
закрыли, заперли, зашторили.
Но сквозь стекло прошла печаль,
пошла по новой траектории.

III. Песня Калибана

Моя голова как планета:
на макушке — Северный полюс,
Земля Франца-Иосифа,
на подбородке — Южный,
пингвины идут рядами,
дышат друг другу в спины.
В моей голове сотни рек:
вот по Янцзы плывут рыбаки,
вот Оранжевая тянется к югу,
вот из холодных морских вод
рыба-луна показывает плавник,
вот едет автобус в моей голове
из одного города в другой:
сотни тысяч их в моей голове.
Я стою — и путаются тропинки,
улицы, дороги, шоссе.

Но я знаю точно, куда мне надо идти:
я проснулся с этим знанием птицы,
всегда прилетающей на то же место.

IV. Калибан в летнем доме Одена

Калибан идёт по опустевшему дому,
медленно-медленно,
поднимается по узкой лестнице —
так сова взлетает
на высокую ветку:
была жизнь, и нет её.

«Калибан, Калибан», —
слышит он из открытых конвертов;
«Калибан, Калибан», —
слышит он из бутылки виски;
«Калибан, Калибан», —
выстукивает машинка.
«Ты свободен,
свободен».

V. Калибан у могилы Одена

Крест с английской надписью,
что ни говори, —
чужой на австрийском кладбище,
как будто пришёл постоять
в одиночестве, посмотреть,

как другим крестам
приносят цветы:
их место, их земля, их семьи.
Man of letters,
дух твой, наверное, редко сюда забредает,
в это молчание на чужом языке.
Но сегодня ты был здесь:
искусственные цветы на твоей могиле,
которые исправно кладёт смотритель,
ещё вчера лежали как камни,
а сегодня их оживил
зелёный лист незнакомого дерева,
принесённый, конечно, тобой —
не ветром.

Восемь минут

Если солнце погаснет,
восемь минут ещё
мы будем беспечны,
восемь минут музыки нашей счёт
продлится:
успеем родиться,
проститься,
сварить молоко,
восемь минут неведения —
так легко,
будем мы человечны
и бесчеловечны,
распланируем лето,
помоем пол,
прочитаем семь или восемь страниц,
настроим виолончель,
накроем на стол,
и раз и два,
и раз и два,
и раз и два,
и раз-летятся слова —
не соберёшь.
Тихо уснём на дне,
холодная тина во рту.

Любовь моя,
сколько минут
отпустишь мне,
прежде чем окунёшь
в темноту?

Клочок земли

1

Просыпайся. Приехали.
Это твой дом.
Что там будет потом —
ты узнаешь потом,
а пока — принимай как есть
этот рыжий суглинок,
тягучую грязь,
бесконечную, хрупкую,
тёмную связь
с земляным беспокойным нутром.

2

В тяжёлых резиновых сапогах
прохлюпать до леса —
там полегче, почище, там облако-занавеска
кольшется,
стебли путаются в ногах.
А ты идёшь — ни имени, ни особых примет,
ты весь — желание выйти на тёплый свет,
и будет шаг — и вынырнешь в этот свет
и поплывёшь
в океане леса —
корабль,
который не хочет к берегу.
Жизнь оказалась прочнее рыбацкой лески,
и что там, за облаком-занавеской, —
передавай приветы Вале, Илье, Пашке, Уистену
и ещё Берингу.

Стоишь посреди клочка земли,
наивно полагая, что он твой,
но земля всегда ничья,
она берёт нас в аренду:
посадить жасмин,
тыкву,
искоренить борщевик.
Земле приятно,
когда её щекочут лопатой.
Стоишь — не знаешь,
за что хвататься:
вот здесь будут сливы,
здесь — груши,
и вроде бы всё хорошо,
и хочется,
хочется,
хочется
ещё лучше.
И хочется им,
и хохочется:
весёлое тайное общество
бывших сажателей
роз, деревьев, кустов,
собирателей первых плодов,
незримых, безмолвных победителей тли
на этом клочке земли.

Псу Рики, который ушёл в Вербное воскресенье

Смотрю я в небо и зову
свою уставшую собаку,
свою умершую собаку
зову — не верю — и зову.
Собакам небо ни к чему,
собакам небо не положено.
Ты не вникай в чужое сложное:
ты не поймёшь. Я не пойму.
Ты лучше просто приходи,
моя собака, псина верная.
Любое воскресенье — вербное.
Ты отпросись и приходи.

Серафима

1

Спит под землёй горький-да-горький лук,
спит под землёй медленная морковь,
каждый ток-ток спит и каждый тук-тук,
и криволапый крот,
длинным упрямым корнем спит под землёй укроп,
радостный спит редис,
корень жасмина спит,
а над землёй повис
и над землёй висит...
Добрых тебе, малыш.
Дремлет земля в росе.
Живы у Бога все.
Живы у Бога все.

2

Серафима Ваню похоронила
под окном, на участке.
Серафима его закрыла, зарыла,
разбилась на части,
распалась на память-голоса-звуки,
на тело бесцельное — ноги-руки.
Но огромная — с самую землю — сила
сохраняет Симу для непокоя.
А она любила его, любила,
а она носила его, носила,
от кого носила — кому какое.

Илья и Валя

Ночь просыпалась сливами,
ранний всполох.
Я их вижу красивыми,
в одеждах новых.

Запонки хрустальные,
бусы жемчужные,
службы их поминальные
давно отслужены.

И так это просто —
выше своего роста
идут они, идут и идут.

Я знаю их адреса,
их любимые песни,
их сына,
их дочь.

И ничего сложного
в этой безречности.

А они всё идут, идут,
идут и идут,
не из прошлого —
из вечности.

Мадонна Маша

Вечером, а для кого — спозаранку —
в доме шестнадцать
варит
Мадонна Маша,
варит ханку,
и не признаться
самой себе,
что жизнь — песочек,
сколько их было в её судьбе,
таких отсрочек.
Падает снег за окнами
и не тает,
хлопает Маша створками
и взлетает
и над собой летит,
над дымной кухней,
робко младенец спит —
сова не ухнет,
под потолком Маша,
под облаками,
дом её — полая чаша:
доски да камни,
машет она, машет
дому и сыну,
сердце — из воска,
тело её — из глины,
Маша, волхвы в пути —
верное войско,
не беспокойся,
Маша, лети, лети,
Маша, не бойся.

Приключение у Финского залива

Опыт другого пространства с участием
У. Х. Одена, Элизабет Бишоп, Джона Донна,
Винни-Пуха и Паши

1

Летний лагерь, вторая смена,
у Никиты — таблетки тарена,
скоро восемь, начнёт смеркаться.
Нам почти по шестнадцать.
Из-за розовых занавесок
видно кладбище-перелесок.
У могилы Д. Б. Синицы
мы встречаемся в восемь тридцать.

2

Закат похож на рассвет,
если не знать, что это закат.
Пятнадцать световых лет
по ком-ком-ком
ком-о-ком-о-ком-о-ком
колокола звонят?

Слепой говорит: «О тебе это, о тебе
песня моя, длинная, как змея.
Пойдём со мной по долгой
подземной
подводной
трубе

на остров, которому можно, а нам нельзя —
можно быть одиноким».
И мы идём, и в этой трубе черным-черно,
и страшно мне, а ему — всё равно.

3

Мы выберемся отсюда до конца лета?
До конца наших световых лет?
«Просто иди, — говорит, —
и выйдешь на свет —
тот или этот».

4

И вышли на свет,
через час и ещё один год.
В яростном свете — белый — без ножек — стол,
и за столом — мой одноклассник. Вот,
значит, какое место себе ты нашёл.
Рядом с ним — Уистен, и Элизабет,
и Винни-огромный-Пух,
у него всё время отваливается ухо
и тут же прилепляется обратно.
«Время вечернего мартини!» —
Уистен медленно поднимает руку:
она дрожит, и мартини капает на стол.
«Словам нельзя верить,
особенно словам о любви», —
произносит он.
«Ты так и не научился терять!» —
качает Элизабет головой —

так сильно, что голова взлетает,
описывает круг и возвращается на шею.
«Кто бы говорил! —
поёт Винни-Пух. —
Твоя любовь повесилась,
раскачивается, как язык колокола —
тинь-том-о-ком-о-ком-о-ком...
А в голове — соломы ком,
нагретый солнцем ком».
Элизабет выпивает и смотрит на моего друга:
«Чего притих?
Ты на чьей стороне?»
«Я — на их,
на стороне своих,
живых...» —
смотрит в глаза мне.
«Паш!» —
кричу я, но труба засасывает,
и наш
обратный отсчёт
начинается.

5

Поминутно приходишь в себя —
из забвения в день бытия,
слева — лес, а направо — залив,
всё прощаешь — так робко красив
этот берег и будущий лёд.
Всех прощаешь — за всё — наперёд.

* * *

Младший брат, которого у меня никогда не было,
говорит мне:

ты знаешь то, что я никогда не узнаю:
тебе по утрам гладили красный галстук,
ты собирала наклейки турбо,
ты даже помнишь прабабушку.

И это звучит примерно так:
ты носила шляпу с вуалью,
ты собирала дагеротипы,
ты была санитаркой на Первой мировой!

Старшая сестра, которой у меня никогда не было,
говорит мне:

ты ещё столько всего узнаешь,
столько всего поймёшь,
и будет у тебя собственный сад,
и ты расскажешь дочке
про кудрявого виноградного дракона.

И звучит это примерно так:
через сотню-другую лет
в скафандре со встроенным искусственным разумом
на чужой планете
ты будешь показывать гуманоидам
голограмму Земли.

Самое лучшее

1

Самое лучшее — сбылось,
самое страшное — сбылось.
Я сижу на скамейке,
я наблюдаю:
что-то большое прошло,
что-то маленькое пронеслось,
что-то пробежало,
полетело,
растаяло.

2

То забвенье, то зарево,
скажешь богу: куда его
денешь, скажешь: всё-таки — мой.
И придёшь из-за правого
и возьмёшь меня за руку —
ты — возьмёшь меня за руку,
скажешь:
пойдём домой.

Родители

Родители уходят в прошлое.
Коленки и руки грязные,
детскими именами
названные, —
по одному, по парам, в компании —
уходят в незнание,
родители едят пирожные,
не делятся с нами.
Уходят в неведение,
кричат первое слово,
пятнадцатого февраля — сретение
ветхого с новым,
а дальше — мы сами:
в небо ли, в воду ли —
журавли — цапли.
Родители пьют содовую,
а нам — ни капли.
И это их чаша —
до дна, до глины.
Морщины их не видны,
сны невинны.

Как дождь

Завершено. Совершенно. Свершённо.
Горохом жизнь просыпалась из рук.
И все ушли: ни голоса, ни звона.
Один остался звук.
Он от любых тональностей свободен,
не приглушить его и не унять:
«Теперь я здесь, теперь в твоей природе
меня среди других опознавать.
И будет жизнь, и ночь, и ты проснёшься
от незнакомой музыки в груди.
И с высоты моей как дождь сорвёшься,
не спрашивая, что там, впереди».

Красное Село

Наверное, мне очень повезло:
я не ищущу ни повода, ни смысла.
И Красное июньское Село
в звенящей невесомости повисло.
Наш храм отсюда через семь домов —
как через семь непрожитых столетий.
Иных времён немногословный Йов
свои печали молчаливо встретит,
а мне кричать, а мне не к месту быть,
не ко двору, не в тему, не ко срокам,
мне море перейти и поле переплыть
и в будущее выйди ненароком.

Настройщик

Бывает, себя, как в молитву, в мазурку уронишь
и пальцы отпустишь — пусть летят себе с богом.
Он пришёл ремонтировать мой чёрный «Рёниш»,
он молчит, будто молчит о многом.
А потом спокойно так: «Это усталость.
Усталость струн.
И никак не исправить,
и ничего не осталось —
только менять».
«Но поменять струны, — говорю, —
всё равно что поменять память».
И в голове звучит и звучит опять
знакомой мазурки поступь,
синкопы клокают внутри.
И кто-то из прошлого шепчет на ухо: «Просто
меняй, меняй, не бойся — и раз-два-три».

Из британской
поэзии

От переводчика

Поэзия Британских островов — сама целый остров с неизвестными территориями, зачастую возникающими там, где всё, казалось бы, давно исхожено и изучено. В этом смысле, несмотря на внушительную армию переводчиков, мы не можем говорить о переизбытке английских текстов в российском литературном пространстве — будь то классическая британская поэзия либо — особенно — современная. Переводчик волен вытащить из небытия авторов прошлых веков, познакомить читателя с новой и новейшей поэзией или заново интерпретировать ставшие хрестоматийными произведения.

Так было, к примеру, с новым корпусом переводов «Песен невинности и опыта» Уильяма Блейка. Конечно, может возникнуть вопрос, не является ли перевод переведённого тиражированием сущностей. Вариантов ответа как минимум два, и оба — верные. Но несмотря на то, что этот вопрос непрестанно звучал у меня в голове, я, среди прочего, выбрала для перевода один, пожалуй, из самых хрестоматийных текстов Блейка — «Муха»/«Мотылёк», вариантов которого на русском языке десятки. Решиться на такой шаг мне помогла исключительная любовь к этим строкам, их ритму и философии.

Похожая история и со сборником «Поэтический мир прерафаэлитов», в котором многие стихотворения представлены на русском впервые. Интересным открытием стал «День и год» авторства Элизабет Сиддал. Стихотворение само по себе звучит пронзительно, но знание о том, что его написала Офелия с картины Милле, безвременно ушедшая из жизни модель прерафаэлитов, придаёт ему особенный смысл, добавляет нерва.

Ещё одна поэтесса — Кристина Россетти. Её стихи, подзабытые в начале XX века и заново открытые в 1970-х годах, стали классикой британской литературы. Сдержанные, как будто даже отстранённые, они иной раз удивляют ритмическим

рисунком и неожиданностью образов, с одной стороны, и постоянным напоминанием о конечности бытия — с другой. Но мысли о смерти находят в её лирике выход в духовное осмысление существования, что, безусловно, придаёт им ту ценность, которой нет у других поэтов-праерафаэлитов.

Интересным примером в контексте переводов переведённого является творчество Уистена Хью Одена — поэта во всех смыслах трансатлантического. Это весьма нечастый случай автора, которого сколько ни переводы — всё мало. Бесконечные аллюзии, ритмические и жанровые эксперименты, своеобразная философия дают переводчикам не только огромные возможности для интерпретации, но и несомненное право переводить такие тексты снова и снова. Впрочем, стихотворение, представленное здесь, — пока единственный вариант на русском языке. Оно интересно и как версификационный опыт (чередование семи- и пятисложников), и с исторической точки зрения.

Двое из включённых в эту подборку современных авторов уже стали постоянными участниками различных антологий и хрестоматий. Сейчас это, пожалуй, одни из наиболее известных в России ныне живущих британских поэтов. С Шинейд Моррисси мне довелось познакомиться лично в центре поэзии Шеймаса Хини в Белфасте. В её текстах сразу привлекает неизбывная энергия, некий созидательный непокой. Ей интересно всё — от истории России (где она бывала и о которой пишет удивительно много для британского поэта) до реалий Японии и Новой Зеландии. Поэтический диапазон Шинейд Моррисси столь же широк: рифмованные стихи, верлибры, неожиданные ритмы, звукопись. «1801» — необычное стихотворение о Вордсворте — отличается движением, в нём много действия и экзистенциального откровения (как и во втором стихотворении этой подборки).

Дэвид Константайн, напротив, более сдержан и в чём-то даже статичен. Творчество этого поэта из Северной Англии (полагаю, география в некотором смысле определяет созна-

ние) созвучно скандинавской поэтической тенденции и особенно такому датскому поэту, как Хенрик Норбрандт. В подобных стихах напряжение и нередко трагическое переживание скрыто за перечислением, декорацией, пейзажем. «Зеркало, окно» в полной мере иллюстрирует эту мысль.

Практически не знакомо российскому читателю творчество Кэтрин Симмондс. Между тем у неё есть редкое в поэзии качество — выходить на свет и выводить за собой читателя. С чем бы это ни было связано — с весьма серьёзными религиозными убеждениями, с темпераментом ли, — это подкупает, и хочется делиться такими стихами с русским языком. «Разговор с липой» представляется мне скорее сценарием стихотворения, его заготовкой, поэтическим эссе, но мне близка его драматургия, его энергетический посыл, который, мне кажется, небезынтересен и для русского уха.

Четырёх современных поэтов, представленных здесь, я бы условно разделила на более склонных к медитативной лирике (и это как раз Кэтрин Симмондс и Дэвид Константайн) и на поэтов движения (пусть не всегда явного, но неизменно присутствующего) — и это Шинейд Моррисси и Мониза Алви. У двух последних присутствует ещё и общее частое обращение к экзотическим для европейцев мотивам. Правда, что для Шинейд Моррисси экзотика, то для Монизы Алви — поэтическое возвращение к своей национальной природе. Пакистанские реалии, обращение к иной ментальности, географические названия мало того что делают её поэзию узнаваемой (а Мониза Алви хорошо известна читающей британской публике), они в каком-то смысле расширяют рамки самой поэзии островов.

Анастасия Строкина

Шинейд Моррисси

Родилась в 1972 году в городе Портадаун. Окончила Тринити-колледж в Дублине, жила в Германии, Японии и Новой Зеландии, в настоящее время живёт в Белфасте, читает лекции в Центре Шеймаса Хини в университете Квинс. Автор пяти поэтических сборников, в 2013 году была удостоена звания первого поэта-лауреата Белфаста.

Прошлой зимой

Прошлой зимой всё было иначе,
а в эту — мороз не на шутку оскалил стальные зубы: в Белфасте
теперь холодней, чем в Москве. В полном затмении
китайский фонарик луны висит над солнцеворотом.
Прошлой зимой ходили мы нараспашку до самого ноября
и теряли перчатки, и не мёрзла герань,
и пузатая новая печка стояла нетопленной
целыми днями, но в лёгких и в горле у нас
в каждой клеточке нежились, множились неубиваемые вирусы:
им было легко и вольготно
той зимой. Наш сын заболел.
Ночами мы глаз не смыкали,
прислушивались к его дыханию. Совсем ослаб,
по утрам не вставал. Оглушённые грудным кашлем,
комнаты и коридоры будто замерли,
в них появилось что-то неизъяснимое —
как в день нашей свадьбы, когда из какофонии праздника
мы вернулись в мою тихую крошечную квартиру
и внезапно смутились, оставшись наедине
среди цветов.

1801

Спокойное ясное утро. Утихла зубная боль.
Вильям правил и правил «Разносчика». Мисс Джил
оставила свежий с прожилками латук; я разложила
сушиться розовую фасоль.
По дороге на почту мне встретился нищий. Когда-то он
был капитаном.

*

День душистый и тёплый. Писем нет. Домой добралась,
бредя вдоль озера, почти бирюзового,
напуганного летним гусиным криком, зовом.
Подошва треснула на новом ботинке — что за напасть.
Жёлтая птичка просила о помощи: на крыльях — красные раны.

*

Вильям уставший был, кафельно-белый.
Я сварила нам грушевый пряный компот.
Этот вечер, казалось, наполнит любовью весь год,
и я едва не сказала: милый, лучи над Грасмиром —
точно рыбы хвосты или стрелы —
смотри: месяц держит луну над озером и над туманом.

Кэтрин Симмондс

Родилась в 1972 году в Хартфордшире. Училась в университете Восточной Англии в Норидже. Стихи начала писать в 27 лет, после смерти отца — которая, по её словам, «заставила всерьёз задуматься, что я делаю со своей жизнью, и я поняла, что единственное, что мне действительно нравится, — это писать». Работает также в прозаических жанрах, пробовала себя в драматургии. Живёт в Северном Корнуолле.

Разговор с липой

Ноябрьский день. Внезапно — солнце,
и липа —

она одна видна из нашего окна —
вспыхивает, как лампочка, спрашивает:
— Кто здесь живёт? Что делает целыми днями?

— Я здесь живу с ребёнком, — отвечаю. —
Мы читаем про храбрую мышку
(эта мышка пылесосит в собственной избушке, и у её друзей —
слона и крокодила — тоже есть свои дома).
Я учу дочку произносить её имя.

Липа внимает.

У неё нет дома, кроме улицы, которую она ненадолго
венчает листвой.

— А кто живёт этажом ниже?

— Там хозяева дома,
это они установили здесь сигнализацию,
ещё у них серебристая машина.

Деньги с нашего счёта перелетают на их — незаметно, как во сне,
упархивают, как листья, и, пока хозяева спят,
они собираются в надёжном месте.
Найти себе место — вот главное.

Липа разглядывает игрушечную гориллу,
разлёгшуюся на диване.
— У неё нет имени, — говорю — и пускаюсь в размышления
о том, как всё изменилось и саженцы
вдоль дороги стали деревьями,
о том, что молодёжь и те, кто постарше, блуждают,
точно израильтяне, но найдётся ли выход?
Нет у них Моисея, который бы провёл их через море
кредитов и безденежья.
Ничего нет, кроме твиттера, заполонившего их головы.
— Твиттер? — спрашивает дерево.
— Ладно, неважно.

— Расскажи мне ещё о соседях.
— Они милые. Сгребают в кучи свои — наши листья.
(— Точнее — мои, — поправляет липа.)
Их мусорные баки всегда в порядке.
Липа переваривает мысли в полоске света, спрашивает:
— Трудно любить людей?
— Бывает... особенно когда знаешь, что внутренне мы похожи.
Когда волнуемся или спешим или же протекают ботинки.
Лучше быть бессловесным деревом,
о котором всё известно заранее, и оно зла не делает,
и ему зла не чинят.

Но липа против романтики:
ветер разносит пепел — её сухую верхушку
спилили и сожгли.

Мы сочувственно молчим.

Кучевые облака напомнили кадр из фильма:
безыпотечная Мэри Поппинс летит по закатному небу,
парит над лондонским туманом, над трубами дымоходов,
её воспитанники выросли, она летит к новым.
А если я заберусь на дерево и помашу ей?
Может, она спустится к нам?

— В наше время ребёнка можно растить в одиночку...
Кружки по выходным, развлечения — столько их,
что всё встало с ног на голову.
И пока вы вкалываете на работе,
голова за вашего ребёнка
болит у кого-то другого.

Липа согласно кивает ветками.

— Дневные программы по телику не заменят живого общения
(исследования доказывают, что они хуже, чем наркотики).
Ты вот
точно умнее участников этих ток-шоу,
игра теней в твоих ветвях завораживает.
Заколдованная, родная моя.

Липа смущённо шелестит листвой: настоящее английское дерево.

— А как насчет общества? Ты когда-нибудь представляла себя в лесу?
— Слишком грязно там. А ты?
— Пытаюсь представить и не могу. Длинная цепочка дней,
и как их все прожить?

А может, и правда объединиться с кем-нибудь, липа?
Уехать куда-нибудь подальше от этой непосильной арендной платы,
от тебя, чересчур дорогая липа?

Туда, где дочка сможет резвиться, не привязанная к интернету,
где её волосы спутаются от ветра и соломы?

Возможно.

Может, научиться красиво вязать?

Или купить моторную лодку?

Липа прячется в тень.

— Ну что ты скажешь?

На наши нужды, долги, съёмное жильё, наши банковские счета,
на то, что все наши проблемы кладут под сукно?

Эй, дерево!

Или ты всего лишь сырьё для мебели? Будущая бумага?

Дрова для камина?

Живой символ достоинства и благородства?

Украшение наших кладбищ?

— Отстань, — говорит дерево. —

И, пожалуйста, не кричи.

— Извини, липа.

Дрозд раскачивается на высокой ветке.

Ещё немного — и запоёт.

Мониза Алви

Родилась в 1954 году в Пакистане, в Лахоре, но с детства живёт в Англии. Училась в университетах в Йорке и Лондоне, много лет преподавала в школе. Первое из опубликованных ею стихотворений — «Подарки моей пакистанской тётушки» — ныне входит в школьную программу. В соавторстве с Вероникой Красновой перевела на английский несколько стихотворений Марины Цветаевой. Живёт и работает в Норфолке.

Сари

Из маминого живота
я смотрела в иллюминатор
на мир снаружи, опалённый солнцем.

А они все смотрели вглубь, на меня —
отец, бабушка,
поварёнок, девчонка-горничная,
бычок с острыми
лопатками,
местные политики.

Моя английская бабушка
взяла телескоп —
разглядеть меня через континенты.

Все они развернули сари.
Тянулось оно от Лахора до Хайдарабада,
петляло в Аравийском море,
испещрённое звёздами,
порхающее с воробьями и перепёлками;
расшили его дорогами,
вплели изгибы холмов.

А потом
меня обернули в сари
и тихо сказали: «Твоё тело — это твоя страна».

Рыба

Я завидовал снам, которые доставались моей жене.
Бывало, поймает видение и гордо положит его на кровать,

как переливчатую упитанную рыбу,
просит меня: «Распознай».

В редкие ночи везло и мне:
я собирался с духом,

погружал сети в иссиня-чёрные воды,
возвращался с уловом.

И две наши рыбины дерзко
впивались друг в друга ртами,

рыбы-души, неуклюжие,
голодные, жадно глотающие наши жизни,

словно хлебные крошки.
Неистово били хвостами,

сливались в один общий сон,
и она пульсировала —

огромная рыба; и в брюхе её росли
наши жизни, радуясь и страдая.

Дэвид Константайн

Родился в 1944 году в городе Солфорде (графство Ланкашир) в Англии. Учился в Оксфорде, более тридцати лет преподавал немецкий язык. Известен как переводчик немецкой литературы — Гёльдерлина, Клейста, Брехта; ему принадлежит и перевод «Фауста» Гёте. Пишет прозу, является автором ряда научных работ в области литературоведения и античной культуры. Живёт в Оксфорде.

Зеркало, окно

В час перед рассветом окно становится чёрным зеркалом,
в котором ничего не отражается — только я.

Лицом к лицу. Смотрим друг в друга. Тот, второй,
знает не хуже меня,

что творится у меня в голове

и на сердце. Он не жесток,

он просто не может мне помочь. А я могу —

я мог бы отвернуться и выпустить его

из мира с той стороны окна, освободить.

Но нет, я вглядываюсь пристальнее. Он тоже. Ясное дело,
мы не приносим друг другу радости.

И я надеюсь, что он исчезнет, когда прокричит петух —

как бывало всегда — и за окном откроется мир:

земля, море, небо, чьи-то шаги.

И я не увижу себя,

радно выходя из окна.

Луна

Вынужденно, вымученно под луной, набирающей смертельную силу,
мы бродили белыми часами, никак не могли согреться.

А нам бы остаться дома, в тепле,
прося друг друга только о милости, о жалости.

Любимая, как же я умолял под ведьмой-луной
ничего не говорить, ни на что не смотреть.
Домой бы и спать — иначе мы превратим
нашу вселенную в пепел, лёд и камень.

Её безжизненное горестное лицо — прямо напротив меня.
«Оглядывайся, — говорит. — Изучай.
Размышляй. И покажи мне, если удастся,
какую-нибудь всё ещё живую любовь».

Я посмотрел назад, и наши поля обернулись пеплом,
холмы изогнулись каменистыми линиями,
я разбил нежное стекло нашего озера,
иссушил каждый ручей. И вот в тишине

я победно встал у рыдающих льдин,
сложил ладони пригоршней, и заструился прах.
Ты дрожала. «Лунная любовь, — говоришь. —
Вот и свершилось. Как ты теперь меня согреешь?»

Уистен Хью Оден

Родился в 1907 году в Йорке. В 1925 году поступил в колледж Крайстчёрч в Оксфорде, получив стипендию по биологии, но затем занялся литературой. Первый его сборник был издан в 1928 году в количестве 45 экземпляров, второй — в 1930 году, и он вывел молодого автора на первый план среди нового поэтического поколения. Оден бывал в Германии, Ирландии, Исландии и Китае; участвовал в Гражданской войне в Испании. В 1939 году переехал в США. После войны получил американское гражданство, в 1950-х годах жил то в Америке, то в Европе, был профессором поэзии в Оксфорде. Одена называют крупнейшим англоязычным поэтом XX века, оказавшим значительное влияние на поэзию как Англии, так и Америки. Кроме поэзии, его литературное наследие включает эссе и рецензии, сценарии для документальных фильмов и либретто. Скончался в 1973 году в Вене.

Йозеф Вайнхебер

К моим воротам ведёт
узкая тропка,
Бежит из деревни в лес:
иду — всякий раз
думаю, не замедлить
ли шаг, заглянув
за ограду, где они
похоронили
тебя, как любимого
домашнего пса.
Убеждённые враги
двадцать лет назад,
теперь мы соседи и
могли бы дружить,

обитая в едином
пространстве Слова,
и за бокалом вина
могли бы болтать
о версификации,
о синтаксисе.
Это должно прозвучать:
разрушители,
слуги зла стали тебе
близки. Как ты им
верил, ты, кто с Геббельсом
мог о культуре
спорить: in Ruah lossen?
Но негодяям
нужен скандал, а юным —
тем ты не нужен.
Если бы ты узнал, что
Франц Егерштеттер,
фермер из Раденгунда,
одинокое
«нет» сказавший арийцам,
лишён головы, —
что бы сердце поэта
ответило им?
Но они постарались,
чтоб ты не узнал,
и стал неожиданным
неизбежный день,
ужасный день твоих слёз
и прозрения —
ты, как в ночном кошмаре,
покончил с собой.
Ошиблось возмездие
в своём выборе:

dies alles ist furchtbar, hier
nur Schweigen gemäß.
Не оплакал тогда я
час твоей смерти,
не сказал ты мне «здравствуй»,
когда впервые
я увидел Кирхштеттен
октябрьским днём в тот
год, который изменил
наш взгляд на космос,
тот annus mirabilis
смерти симметрий.
Проигравшие страны
пришли в себя, здесь
из преступлений только
прозаичные
семейные случаи;
руины войны,
остались в прошлом, исчез
след насилия,
и не хотелось домой
пленным физикам.
Сейчас празднуем свадьбы
тех, кто родился
после ухода Тени,
но, если точнее,
она не ушла — только
переместилась:
испокон бесконечна
работа убийц
(где вышивают они?
на ком женились?) —
не было и не будет
вечного мира.

Кто знает, что значит жить
в безопасности?
Ведь где-то втайне от всех
мужья и отцы,
как монахи, преданно
служат машине,
готовой в любой момент
сделаться смертью.
Но здесь, на этой земле,
я дома, как ты:
всё так же короток век
людей и песен,
к непреложным законам
привыкли сады —
возрождаться в апреле,
жить до осени,
когда ветер сбивает
яблоки с веток.
Смотрю на равнину, на
скрытый от взгляда
городок Зихельбах — он
вытянулся на
запад к медленной Першлинг:
скромная речка
среди своих великих
речных соседей;
позади меня горы,
впереди — Дунай,
тоже чту твоё имя,
сосед мой и друг,
английским ухом ловлю
немецкую речь,
пытаюсь постичь твоё
мастерство: ты мог

слышать музыку скрипок
и песни цветов,
ты своей жизнью смог den
Abgrund zu nennen.

Это стихотворение — воображаемый диалог Уистена Хью Одена и австрийского поэта Йозефа Вайнхебера, примечательный не только своей невозможностью (поэты при жизни не встречались, 8 апреля 1945 года Вайнхебер покончил с собой), но и различием в убеждениях (Вайнхебер был членом нацистской партии). Оден обращается к австрийскому поэту как к соседу: оба в разное время жили в Кирхштеттене — небольшом городке под Веной. Их соседство оказалось вечным: могилы поэтов находятся рядом друг с другом.

in Ruah lassen — на венском диалекте: «Оставить в покое». Так Вайнхебер ответил Геббельсу, когда тот спрашивал совета о дальнейшем развитии культуры и искусства.

Franz Egerstetter — об австрийском крестьянине Франце Егерштеттере, обезглавленном за неприятие фашизма, Оден узнал из книги Гордона Зана *In Solitary Witness: The Life and Death of Franz Jägerstätter*, которую читал в июле 1964 года, собственно в год выхода книги. Примечательно, что восставший крестьянин родился, как и Оден, в 1907 году.

dies alles ist furchtbar, / hier nur Schweigen gemäß — «Всё это ужасно, здесь уместно только молчание» — строки из стихотворения Вайнхебера «Auf des Unabwendbare» («К неизбежному»).

tot annus mirabilis / смерти симметрий — Оден имеет в виду опыты китайско-американского физика Янга Чжэньнина (1956) и опровержение закона сохранения чётности, который до того считался одним из фундаментальных законов сохранения. Латинским словосочетанием *annus mirabilis* (год чудес) в культуре англоязычных стран называют года, отмеченные выдающимися событиями.

den / Abgrund <euch> zu nennen — «Дать имя бездне», строка из стихотворения Вайнхебера «Kammermusik» («Камерная музыка»).

Элизабет Сиддал

Родилась в 1829 году в Лондоне в семье рабочего. Была модисткой в шляпном магазине, где её заметил Уолтер Деверелл, запечатлевший её в образе Виолы из «Двенадцатой ночи» Шекспира. Её называли музой прерафаэлитов: она позировала Уильяму Холману Ханту, Джону Эверетту Милле, а также Данте Габриэлю Россетти, женой которого стала впоследствии. Под влиянием прерафаэлитов начала заниматься живописью и поэзией — была единственной женщиной среди художников, участвовавших в выставке прерафаэлитов в 1857 году. Считается, что позирование для «Офелии» Милле, во время которого Элизабет приходилось много времени проводить в ванне с водой, подорвало её здоровье. Умерла в 1862 году от передозировки лауданумом, в те времена распространённым лекарственным средством. Было ли это самоубийство или ошибка, неизвестно.

День и год

И сколько их прошло с тех пор —
Минут, часов и дней, —
Как целовала я тебя
То робко, то сильнее?
Но этот май — прекрасен он
Невинностью ветвей.

И я лежу в густой траве,
А надо мной — листва.
Моё — чужое мне — лицо
Опутала трава —
Печально, нежно, словно я
Лежу в траве мертва.

Неясный безымянный страх
В усталый мозг проник.
Идут фантомы прошлых лет
В забвенье — напрямик;
Но кто заплачет, кто-то вдруг
Коснётся губ на миг.

Тень опустилась не спеша
На мягкую траву.
Я узнаю его лицо,
При встрече наяву
Слезами заглушила б я
Немолчную листву.

Но, память, это только ты —
Былого лоскуток.
И нас разъединил листвы
Мерцающий поток,
Стал образ милого лица
Обманчив и далёк.

Река, бегущая с холма
Столетия напролёт,
И сотни птичьих голосов,
Сплетённых в хоровод,
Навеют новую печаль,
А прежняя — уйдёт.

Боль улетела. Тишина
На много долгих миль.
Исчерпана моя любовь
И позабыта былль.
И я лежу в траве — зерно,
Измолотое в пыль.

Кристина Джорджина Россетти

Четвёртая из детей итальянского поэта и карбонария Габриэля Россетти и Фрэнсис Полидори, родилась в 1830 году в Лондоне. Её братья Данте Габриэль и Уильям Майкл основали Братство прерафаэлитов, сестра Мария, прежде чем стать монахиней, занималась литературой и написала книгу о Данте Алигьери. Кристина Россетти начала писать стихи очень рано. Самое известное её произведение — сказочная поэма «Базар гоблинов»; известны также её стихи для детей. Была ревностной приверженкой англиканской церкви, отчего, возможно, не сложилась её личная жизнь — она трижды разрывала помолвки по религиозным соображениям. Умерла в 1894 году.

Моя подруга

Позавчера ещё она
Смеялась и глаза блестели,
И вот — недвижная в постели
Лежит, прекрасна и бледна.

Мы рядом, но на небесах
Час расставания назначен.
Что для неё теперь мы значим?
От плоти — плоть, но к праху — прах.

Друзья, не плачьте, ни к чему:
В пределах горних мир, прохлады;
Ни горя там, ни боли; рада
Она покою своему.

Душа не спит, душе — летать,
И петь, и начинать сначала.
Она любовь нам завещала,
В любви мы встретимся опять.

Гулкий и таинственный

Долгий рассветный
Вздых безответный —
Это пророчит
Ветер бессмертный;
Плачет, хохочет,
Жалобный, гулкий,
Медленный, юркий,
В музыке свиста,
Робкий и ловкий,
Исподволь, быстро,
Без остановки.
Что нам глубокий
Ветра далёкий
Вздых одинокий?

Скрыто посланье
Ветра извечно,
Скрыто прозреньё
В стоне страданья,
В свисте беспечном.
Песня боря
Вся — откровенье,
Только мудрее
Вряд ли мы станем,
Время считаем,
Ночью ли, днём мы
Ищем ответа —
Тщётно бредём мы
В солнечном поле
Знаний и света.

Смертные сроки
Счастья и боли —
Что вам глубокий
Вздых одинокий
Далёкий?

Последнее место

Оставь за мной последнее из мест,
 Нижайшим гостем я войду в Твой дом:
«Вот я жила, вот я несла свой крест
 В сиянии Твоём».

Но если гостем быть почёт велик,
 Позволь хотя б у двери постоять,
Чтоб только видеть, Господи, Твой лик,
 Тебе, Господь, внимать.

Уильям Блейк

Родился в 1757 году в Лондоне, в семье лавочника. Художественные способности Блейка проявились рано, и его отдали в ученики к гравёру; затем он недолго учился в Королевской академии искусств. Книжной гравюрой Блейк занимался всю жизнь, разработал технику рельефного оттиска, которая позднее стала широко использоваться книгоиздателями. Свои стихи он печатал сам, гравюруя текст вместе с иллюстрациями и создавая «иллюминированные рукописи». Многие образы Блейка навеяны мистическими видениями, которым он был подвержен с детства; он создал собственную мифологию и положил начало визионерскому искусству. Однако при жизни широко известен он не был, говорил, что его произведения «более известны на небесах, нежели на земле». Умер в 1827 году, работая над иллюстрациями к Данте. Широкой публике Блейка открыли прерафаэлиты, а для XX века он оказался одним из важнейших авторов эпохи английского романтизма.

Мотылёк

Не заметил,
Не сберёг
Я твой танец,
Мотылёк.

Дети мы —
И ты, и я —
Одного
Небытия.

Пусть
Танцую я, пою —
Жизнь прихлопнут
И мою.

Только мысль —
И пульс, и свет,
Мысли нет —
И жизни нет;

Хрупким
Мотыльком паря,
Жив ли, нет ли —
Счастлив я.

Содержание

Осиротевшие платья

«Мои смешные ботинки утопали от меня...»	5
Арсений	6
Первый зуб	8
«Легче крыла комариного...»	9
Мои герои	10
Твой голос	12
Подснежники	14
На мосту	15
«Не озноб — это мраморным взглядом боги...»	16
Шестнадцатое октября	17
На еврейском кладбище. Могила Цеби	18
Голем	19
До конца времён	20
Рыба-луна	21
«Когда-нибудь нахлынет молодость...»	22
Сосна	23
Воспоминание о том, как мы слушали пластинку	24
Рыбалка	25
Питерская шпана	26
«Может, тело одной породы с известняком...»	27
На посадку каштана	28
Памяти Паши	29
Вот и поговорили	30
Освобождение Калибана	31
Восемь минут	35
Клочок земли	36
Псу Рики, который ушёл в Вербное воскресенье	38
Серафима	39
Илья и Валя	40
Мадонна Маша	41
Приключение у Финского залива	42
«Младший брат, которого у меня никогда не было...»	45

Самое лучшее	46
Родители	47
Как дождь	48
Красное село	49
Настройщик	50

Из британской поэзии

От переводчика	53
Шинейд Моррисси	56
Кэтрин Симмондс	58
Мониза Алви	62
Дэвид Константайн	64
Уистен Хью Оден	66
Элизабет Сиддал	71
Кристина Россетти	73
Уильям Блейк	76

Анастасия Строкина. Восемь минут

редактор:

А. Переверзин

художник:

С. Труханов

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 4.11.2015.

Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 5

Тираж 500 экз.



Очень важное и нечастое качество — стихи эти созданы очень умным человеком, и они умные. Но, как известно, «поэзия должна быть глуповата», и это достигается естественной лёгкостью письма. Высокие темы раскрываются простыми словами, и не всегда уследишь, как это так органично у автора получилось.

Андрей Грицман

Лирика Насти Строкиной талантлива и обаятельна, в частности за счёт мирочувствия автора. В наши дни, когда чернуха и брюзжание сделали в поэзии дежурным нормативом, стихи Строкиной пронизаны искорками света — к ним хочется возвращаться в поисках культурного исцеления. Они отрадны.

Юрий Кублановский

Неожиданность и живой взгляд — вот чем подкупают меня стихи Анастасии Строкиной. Любопытство и желание дочитать каждое стихотворение до конца: я давно не ловил себя на такой реакции.

Алексей Цветков